

Томас Манн

**Собрание сочинений в десяти
ТОМАХ**

Том IV

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М23

Манн Т.
М23 Собрание сочинений в десяти томах: Том IV / Томас Манн – М.: Книга по Требованию, 2021. – 542 с.

ISBN 978-5-458-45876-4

Настоящее издание представляет собой собрание сочинений известного немецкого писателя-прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1929) Томаса Манна (1875–1955). В собрание входят все известные произведения автора за исключением романа «Иосиф и его братья».

ISBN 978-5-458-45876-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРЕМЕНЫ

Что такое время? Бесплотное и всемогущее — оно тайна, неперменное условие мира явлений, движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением. Существует ли время без движения? Или движение без времени? Неразрешимый вопрос! Есть ли время функция пространства? Или пространство функция времени? Или же они тождественны? Опять вопрос! Время деятельно, для определения его свойств скорее всего подходит глагол: «вынашивать». Но что же оно вынашивает? Перемены! «Теперь» отлично от «прежде», «здесь» от «там», ибо их разделяет движение. Но если движение, которым измеряется время, совершается по кругу и замкнуто в себе, то и движение, изменения, все равно что покой и неподвижность; ведь «прежде» постоянно повторяется в «теперь», «там» — в «здесь». И далее: поскольку при самом большом старании нельзя представить себе время конечным, пространство же ограниченным, принято «мыслить» время и пространство вечными и бесконечными, считая, по-видимому, что если это и не вполне верно, то все же лучше, чем ничего. Но не будет ли такое допущение вечного и бесконечного логическо-математическим отрицанием всего ограниченного и конечного и по сути сведением их к нулю? Может ли в вечности одно явление следовать за другим, а в бесконечности одно

тело находится подле другого? Как согласовать с вынужденным допущением вечности и бесконечности наличие таких понятий, как расстояние, движение, изменения или хотя бы пребывание во вселенной пространственно ограниченных тел? Один неразрешимый вопрос за другим!

Эти и подобные вопросы занимали ум Ганса Касторпа, с самого приезда сюда наверх обнаружившего склонность к столь неприлично-въедливому любопытству, причем эта захватившая молодого человека злосчастная, но непреодолимая страсть, по-видимому, даже отточила его мысль и придала ей самонадеянность, нужную для углубления в такие казуистические дебри. Он задавал эти вопросы и себе, и честному Иоахиму, и с незапамятных времен погребенной в снег долине, хотя не мог ждать от них ничего сколь-нибудь похожего на ответ — трудно даже сказать, от кого всего менее. Себе он задавал все эти вопросы лишь потому, что не знал, как на них ответить. Иоахима, к примеру, почти немисливо было втянуть в такие разговоры: он, как однажды вечером объяснил по-французски Ганс Касторп, помышлял лишь о том, чтобы стать там, на равнине, солдатом, и вел ожесточенную борьбу с маячившей то совсем близко, то вдруг насмешливо ускользящей надеждой, борьбу, которую он в последнее время, видимо, имел поползновение завершить насильственным путем. Да, на честного, терпеливого, смиренного Иоахима, всегда благоговевшего перед дисциплиной и служебным долгом, находил порой мятежный стих, и он бунтовал против «шкалы Гафки» — метода исследования, при помощи которого здесь, в лаборатории, или, как пациенты говорили, «в лабораторке», измерялась и устанавливалась степень зараженности больного бациллами: обнаружены ли при анализе мокроты единичные палочки, или она кишит ими, определялось величиной цифры на шкале, — от нее-то все и зависело. Полученный балл с неотвратимой непреложностью указывал больному его шансы на выздоровление; тут уже не представляло труда определить, сколько месяцев или лет ему предстоит про-

вести «наверху», начиная с полугодичного краткого визита и вплоть до приговора «пожизненно», что, однако, в смысле продолжительности, могло означать и весьма небольшой срок. Против этой-то шкалы Гафки и восставал Иоахим, открыто выражая свое неверие в нее, — впрочем, не *совсем* открыто, не прямо главному врачу, а двоюродному брату и даже соседям по столу.

— Хватит с меня, больше не позволю себя морочить, — возвышал он голос, и кровь прилиwała к его бронзовому от загара лицу. — Две недели назад у меня было Гафки два, сущий пустяк, и самые лучшие перспективы, а сегодня девять, палочек полным-полно, и о равнине думать нечего. Поди разберись, сам черт ногу сломит, просто терпения нет. В санатории на Шацальпе лежит крестьянин грек, его прислали сюда из Аркадии, агент прислал — безнадежный случай, скоротечная, каждый день можно ждать exitus'a, а в мокроте хоть бы раз бациллу обнаружили! Зато у толстого капитана бельгийца, который выписался отсюда здоровым, когда я прибыл, у того определили Гафки десять, уйму палочек, а каверна у него была самая ничтожная. Слышать больше не желаю о Гафки. Хватит с меня, поеду домой, хоть бы это стоило мне жизни! — Так говорил Иоахим, и всем было больно и неловко видеть, как горячится этот всегда кроткий и сдержанный молодой человек. Угрозы Иоахима бросить лечение и вернуться на равнину поневоле вызывали в памяти Ганса Касторпа некоторые соображения, высказанные по-французски и услышанные им от третьего лица. Однако он молчал; да и вправе ли он был ставить двоюродному брату в пример собственную выдержку, как это делала фрау Штёр, всерьез убеждавшая Иоахима не бунтовать, а смиренно покориться, подражая стойкости, с какой она, Каролина, высидивает здесь, мужественно отказываясь хозяйничать у себя дома в Каннштате ради того, чтобы в один прекрасный день подарить в своем лице мужу целиком и полностью исцеленную супругу? Нет, этого он не мог сделать, тем более что с карнавала на масленой

у него по отношению к Иоахиму была нечиста совесть, а именно: совесть подсказывала ему, что Иоахим видит в том, о чем они не обмолвились ни словом, но о чем Иоахим, несомненно, знал, — своего рода измену, дезертирство, предательство, особенно если принять во внимание чьи-то круглые карие глаза, апельсиновые духи и неуместную смешливость, опасному воздействию которых сам Иоахим подвергался пять раз на дню, но строго и благонравно не отрывал глаз от своей тарелки... Даже в молчаливом неодобрении, с каким Иоахим встречал его рассуждения и взгляды на «время», Гансу Касторпу чудился душок все той же коловшей ему глаза военной выдержки. Что же касается долины, погребенной в снег зимней долины, к которой Ганс Касторп, лежа в отличном шезлонге, также обращал свои умозрительные вопросы, то осенявшие ее вершины, зубцы, крутые гребни и серо-зелено-рыжие леса всегда оставались безмолвны, порой блистая на фоне глубокой синевы небес, порой скрываясь в тумане, порой розовея в пламени заката или сверкая, как алмаз в волшебном сиянии лунной ночи, овеванные бесшумно скользящим земным временем, но неизменно одетые в шапки снега, вот уже шесть бесконечно долгих и, однако, незаметно промелькнувших месяцев, — и все больные в один голос заявляли, что глядеть больше не могут на снег, что он им опротивел, что уже лето с лихвой удовлетворило все их запросы на зимние пейзажи, а изо дня в день видеть только снег да снег, снежные сугробы, снежные подушки, снежные склоны, свыше сил человеческих и убийственно действует на настроение. И все носили цветные очки — зеленые, желтые, красные, — отчасти, чтобы защитить глаза, но еще больше ради бодрости духа.

Горы и долина в снегу уже более шести месяцев? Семи! Пока мы рассказываем, время, вынашивая перемены, стремится вперед — *наше* время, которое мы уделяем этому рассказу, но также время, давно минувшее, — время Ганса Касторпа и его товарищей по несчастью, там, среди снежных гор. Все шло своим чередом, как Ганс Касторп на масляной, возвращаясь

из деревни, в кратких словах предсказал, к явному неудовольствию Сеттембрини: до солнцеворота было, правда, еще далеко, но пасха уже прошествовала по белой долине, апрель близился к концу, а там недалеко и до троицы, скоро весна, оттепель — положим, стает не весь снег, на южных вершинах и на севере в расселинах Ретийской цепи всегда оставалось немного снегу, не говоря о том, что неизменно выпадал в летние месяцы, но долго не залеживался, — и все же смена времени года сулила значительные перемены в самом недалеком будущем, ибо с вечера карнавала, когда Ганс Касторп одолжил у мадам Шоша карандаш и позже вернул его, выпросив у нее взамен нечто другое на память, подарок, который он постоянно носил при себе в кармане, прошло ни мало ни много полтора месяца — срок вдвое больший, чем первоначально намеревался провести здесь Ганс Касторп.

В самом деле, прошло уже полтора месяца с того вечера, как Ганс Касторп познакомился с Клавдией Шоша и потом намного позже ревностного служакки Иоахима вернулся в свою комнату, — полтора месяца с утра следующего дня, ознаменовавшегося отъездом мадам Шоша, не окончательным, *временным* отъездом в Дагестан, далеко на Восток, в Закавказье. Что отъезд носит временный, а не окончательный характер, что мадам Шоша предполагает вернуться, — неизвестно когда именно, но что она хочет или должна будет когда-нибудь возвратиться сюда — на то у Ганса Касторпа имелось прямое ее словесное обещание, полученное не во время переданного нами иноязычного разговора, а стало быть, в промежуток, который мы обошли молчанием, прервав связанное временем течение нашего повествования и предоставив говорить за нас самому времени. Как бы то ни было, молодой человек получил эти заверения и утешительные обещания прежде, нежели вернулся в свой тридцать четвертый номер; так как на следующий день он не обменялся с мадам Шоша ни словом, почти ее не видел или, точнее, дважды видел издалека: за обедом, когда она в синей суконной юбке и белом шерстяном свитере под грохот захлопывающейся засте-

кленной двери в последний раз, грациозно крадучись, пробиралась к столу, а у него сердце готово было выскочить из груди, и только неусыпный надзор фрейлейн Энгельгарт помешал ему закрыть лицо руками, — и затем в три часа дня, в минуту отъезда, при котором он, собственно, не присутствовал, но тем зорче наблюдал за ним из окна коридора, выходявшего на подъезд и главную аллею.

Проводы происходили совершенно так, как Гансу Касторпу за время своего пребывания здесь наверху неоднократно уже случалось видеть: к подъезду подкатывали сани или карета, кучер и швейцар увязывали чемоданы, на площадке собирались санаторские больные, друзья того, кто, исцеленный или больной, отправлялся жить или умирать на равнину, и те, что просто, ради чрезвычайного события, увильнули от процедур, появлялся господин в сюртуке, представлявший дирекцию, а иной раз врачи, и наконец выходил сам отбывающий, чаще всего с сияющим лицом, очень оживленный от предстоящих перемен, и милостиво приветствовал столпившихся вокруг любопытных и знакомых... На сей раз в длинном пушистом, отделанном мехом дорожном пальто и в большой шляпе, с огромным букетом в руках вышла улыбающаяся мадам Шоша в сопровождении сутулого своего соотечественника господина Булыгина, который ехал с ней часть пути. Она тоже казалась возбужденно-веселой, как и все отъезжающие, которые радовались перемене в жизни, независимо от того, уезжали ли они с разрешения врача, или с нечистой совестью, на свой страх и риск прерывали лечение, потому что изверились и все им опостылело. Щеки ее покраснелись, и пока ей кутали колени в меховую полость, она что-то не переставая болтала, вероятно по-русски... Проводить мадам Шоша пришли не только ее соотечественники и соседи по столу, но и многие другие больные, доктор Кроковский, бодро осклабясь, показывал свои желтые зубы сквозь щазу бороды, откуда-то появились еще цветы, двоюродная бабушка не поскупилась на конфеты, «конфетки», как говорила она, или мармелад, тут же стояли учитель-

ница и мангеймец — последний мрачно наблюдал в некотором отдалении, и его страдальческий взгляд, скользнув по фасаду, обнаружил Ганса Касторпа у окна коридора и на мгновение мрачно задержался на нем... Гофрат Беренс так и не появился: очевидно, он нашел случай проститься раньше, в более интимной обстановке... Лошади тронули, все что-то выкрикивали, махали, и тут мадам Шоша, откинувшись от голчка на спинку сидения, в свою очередь обвела раскосыми смеющимися глазами фасад санатория «Берггоф» и на какую-то долю секунды задержалась взглядом на Гансе Касторпе... Бледный как полотно, бросился он в свою комнату, чтоб в последний раз с балкончика увидеть, как сани под звон бубенчиков спускаются по главной аллее к деревне, потом рухнул в свое кресло и вытащил из нагрудного кармана полученный на память подарок, залог, заключавшийся в данном случае не в коричнево-красных стружках, а в тонко обрамленной пластиночке, прямоугольном кусочке стекла, который надо было держать против света, чтобы хоть что-то разглядеть — внутренний портрет Клавдии, ее безликое изображение, позволявшее, однако, различить хрупкий костяк торса, окруженный мягкими контурами призрачно-туманной плоти, и органы грудной полости.

Как часто рассматривал и прижимал он к губам этот портрет за протекшее с тех пор время, — время, которое вынашивало перемены! Так, например, Ганс Касторп раньше, чем можно было предположить, свькся с жизнью здесь наверху в отсутствие разделенной от него пространством Клавдии Шоша: здешнее время было особенно приспособлено и нарочно так распределено, чтобы создавать привычки, хотя бы даже привычка заключалась в сознании того, что к этой жизни никогда не привыкнешь. Незачем, да и напрасно стал бы он ждать грохота и звона, отмечавших начало всех пяти, более чем обильных, санаторных трапез; где-то, в страшном отдалении отсюда, мадам Шоша хлопала теперь дверями — что, вероятно, было неразрывно связано с ее внутренней сущностью, со всем ее поведением и ее болезнью, —

столь же неразрывно, как пребывание тел в пространстве со временем: быть может, в этом, в одном этом, и заключалась ее болезнь... Но, отсутствующая и невидимая, она представлялась Гансу Касторпу невидимо-присутствующей — гением этих мест: Ганс Касторп однажды его узнал, познав ее в гибельный и сладостный до безрассудства час, час, к которому не подберешь ни одной простенькой песенки равнины, и носил призрачный внутренний силуэт у своего сердца, взволнованно бившегося вот уже девять месяцев.

В тот час его дрожащие губы бессознательно и невнятно бормотали на чужеземном и родном языке разные нелепицы: безответственно выдвинутые проекты, предложения, замыслы, безумные планы, не встретившие, однако, и вполне резонно, никакого одобрения — он-де будет сопровождать ее, гения, на Кавказ, поедет за ней следом, готов дожидаться ее в любом городе, который непостоянный нравом гений изберет местом своего пребывания, чтобы им никогда уже не разлучаться. От пережитого приключения у простодушного молодого человека остался залогом лишь призрачный силуэт и зыбкая вера во все же вероятную возможность, что мадам Шоша, рано или поздно, смотря по тому, как будет протекать дававшая ей свободу болезнь, вернется сюда в четвертый раз. Но рано ли, поздно ли, так сказано было ему при расставании, он, Ганс Касторп, все равно уже «будет отсюда далеко», и нелестное о нем мнение, скрытое в этом пророчестве, было бы вовсе нестерпимым, если бы не убежденность в том, что иные предсказания делаются не затем, чтобы они исполнялись, а для того, чтобы — они наподобие заклинаний — *не* исполнялись. Пророки такого рода глумятся над будущим, предрекая его с тем, чтобы оно постыдилось оправдать их прозорливость. И ежели гений, во время переданной и не переданной нами беседы, назвал Ганса Касторпа «*joli bourgeois au petit endroit humide*»¹, что по-французски примерно со-

¹ «Хорошенький буржуа с влажным очажком» (франц.).

ответствовало определению Сеттембрини, прозванного его «трудное дитя жизни», то возникал вопрос, какой же из разнородных элементов этой сложной смеси одержит верх в его натуре: буржуазный или иной... Потом гений упустил из виду, что если сам он неоднократно уезжал и возвращался, то и Ганс Касторп вполне может в нужную минуту вернуться — хотя он, собственно говоря, только затем все еще сидел здесь в горах, чтобы ему не было надобности возвращаться: именно в этом, как у многих других, заключался смысл его затянувшегося пребывания в санатории.

Впрочем, *одно* насмешливое предсказание гения все же исполнилось: у Ганса Касторпа подскочила температура; кривая круто взмыла кверху отвесным пиком, который он тогда же торжественно вычертил, и после небольшого снижения, уже в виде плоскогорья, продолжала держаться на одном уровне волнистой линией, возвышавшейся над равниной, обычной для него до сих пор. Ни высота температуры, ни устойчивость ее никак не вытекали, по словам гофрата, из объективных данных. «Значит, дружок, процесс зашел дальше, чем можно было ожидать, — изрек он. — Что ж, начнем вас колоты! Это должно подействовать. Через три-четыре месяца будете как огурчик, могу выдать вам в этом расписку».

Так случилось, что Ганс Касторп дважды в неделю, по средам и субботам, сразу же после утреннего моциона, должен был спускаться в «лабораторку» на уколы.

Курс проводили оба врача поочередно, но гофрат колотил как виртуоз, с размаху втыкал иглу и одновременно нажимал на головку шприца. Впрочем, он мало заботился о том, куда колет, так что иногда бывало чертовски больно и на месте укола долго жгло и оставался твердый желвак. Вдобавок инъекции изнуряюще действовали на организм в целом, расшатывали нервную систему не хуже, чем спортивное перенапряжение, что свидетельствовало об эффективности лекарства, о могучей силе которого можно было судить и по тому, что оно сперва даже вызывало повы-

шение температуры. Беренс так и предсказывал, и так оно случилось, а посему на предсказанные явления нечего было и пенять. Когда подходила очередь, сама процедура уже не отнимала много времени, вы мигом получали под кожу, будь то в бедро или в руку, свою порцию противоядия. Но раза два, когда гофрат был в духе и не хандрил от курения, между врачом и пациентом во время процедуры завязывался разговор, который Ганс Касторп насколько умел искусно направлял в желательное русло.

— Я всегда с удовольствием вспоминаю нашу беседу у вас дома за чашкой кофе, господин гофрат, осенью прошлого года. Как это тогда случайно вышло. Не далее как вчера, или это было третьего дня, я говорил двоюродному брату...

— Гафки семь, по последнему анализу, — отрезал гофрат. — Не идет, не идет дело на поправку у нашего юноши. И вдобавок никогда он еще меня так не терзал и не мучил. Желает, видите ли, уехать и нацепить на себя саблю. Это же чистое мальчишество! Подымает крик из-за какого-то несчастного годика с четвертью, словно проторчал здесь целую вечность. Объявил, что уедет так или иначе, — он и вам это говорил? Хоть бы вы, что ли, потолковали с ним, от своего имени, конечно, и задали хорошую головомойку! Ведь пропадет малый ни за грош, если раньше срока наглотается вашего милого тумана. С правой верхушкой-то у него неладно. От вояки нечего и требовать ума, но вы, как человек рассудительный, как штатский, получивший гражданское воспитание, вы должны бы вправить ему мозги, чтобы он не наделал глупостей.

— Я и стараюсь, господин гофрат, — отвечал Ганс Касторп, не упуская из виду главной своей цели. — Стараюсь, как только можно, когда он начинает артачиться. Думаю, он все же образумится. Но примеры, которые у нас перед глазами, надо прямо сказать, оставляют желать лучшего. Вот в чем беда. Отъезды все учащаются — самовольные, безо всякого на то основания, отъезды на равнину, а проводы устраиваются торжественные, будто это настоящий